

«КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОЙ ГОДНОСТИ» П.Б. СТРУВЕ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

А.А. Кара-Мурза
Институт философии РАН

Аннотация: *В статье анализируется история формирования и развития концепции «личной годности» П.Б. Струве. По мнению автора, данная концепция была результатом глубокой самокритики и переоценки П.Б. Струве собственной роли в освободительном движении. В содержательном плане концепция «личной годности» представляла собой творческое развитие либеральной идеи и должна была стать одним из важнейших принципов возрождённого христианского миропонимания.*

Ключевые слова: *история политической мысли, политическая философия, интеллигенция и «интеллигентщина», русский либерализм, П.Б. Струве.*

Предисловие

Общая канва эволюции общественно-политических взглядов Петра Бернгардовича Струве достаточно хорошо известна как из его собственных воспоминаний, так и из серьёзных исследований [см. напр.: Струве 1950; Пайпс 2001а; Пайпс 2001b]. Известно, например, что совсем юный Струве наследовал от отца «патриотические, националистические порывы, окрашенные династическими и в то же время славянофильскими сочувствиями, граничившими с ненавистью к революционному движению» [Струве 1950 № 9: 115]. А первый серьёзный мировоззренческий сдвиг произошёл в 1885–1886 гг. и был вызван глубоким потрясением от противостояния с режимом кумира его юности, либерального славянофила Ивана Аксакова¹. Как результат: идеи «русской исключительности» у юноши постепенно выветриваются; универсальная идея свободы, напротив, укрепляется. Струве, по его собственным словам, «по страсти и убеждению становится либералом и конституционалистом» [Струве 1950 № 9: 116].

Впрочем, три года спустя он примыкает к марксистам — на этот раз, по его словам, «чисто рассудочным путём»: «Социализм, как бы его ни понимать, никогда не внушал мне никаких эмоций, а тем более страсти. Я стал приверженцем социализма..., придя к заключению, что таков исторически неизбежный результат объективного процесса экономического

¹ Эту точку зрения высказывает, например, Р. Пайпс, который пишет, что переход к либерализму в середине 1880-х явился у Струве «результатом внезапного озарения»: «При каких обстоятельствах это произошло мы можем только догадываться. Однако имеются твердые указания на то, что этот интеллектуальный кризис был спровоцирован последним столкновением, имевшим место между И. Аксаковым и цензурой незадолго до его смерти в январе 1886 года» [Пайпс 2001а: 39]. Более подробное исследование нами этого вопроса доказывает полную обоснованность этого предположения [Кара-Мурза, Жукова 2011: глава 4].

развития» [там же]. К 1900–1901 гг. Струве отходит от социал-демократии: его разводит с ней принципиально разное понимание соотношения «силы» и «права» в историческом развитии². Теперь он — снова либерал и конституционалист, поначалу левого, «освобожденческого», толка. Дальнейшее движение его мысли — в результате осмысления причин неудач русского освободительного движения — идёт «вправо», в сторону либерального консерватизма. В Белом движении, а затем в эмиграции Струве прочно занимает правоцентристские позиции, периодически акцентируя свои конституционно-монархические предпочтения.

Замечено между тем, что на протяжении всей своей богатой событиями жизни П.Б. Струве никогда не тяготел к сколько-нибудь существенной откровенности с публикой: жанр партийной прессы, в котором ему приходилось по преимуществу работать, никак не располагал к исповедничеству. Огромная мыслительная работа, проделанная Струве, ещё нуждается в реконструкции, тем более, что его идеи разбросаны по бесчисленным небольшим по объёму публикациям. В этой связи представляется интересным сместить ракурс изучения эволюции социально-политической мысли Струве, взяв в качестве идейного стержня, пусть и известный [Гайденко 1992], но, как представляется, недостаточно пока освоенный пласт его творчества, а именно: разработку им концепции *«личной годности»*.

Действительно, в самых разных политических обстоятельствах Петра Струве занимали одни и те же вопросы: По каким законам формируется и ведёт себя в истории ее деятель — индивидуальная человеческая личность? Какой строй и за счёт каких механизмов наилучшим образом формирует оптимальные для культурного и упорядоченного общежития человеческие качества? Каков, в конце концов, набор этих искомых личностных качеств? Или, подытоживая: как формируется и в чем проявляется «личная годность» человека, и каким образом проникает в историю поведенческая патология? Наблюдая за тем, как на протяжении разных этапов жизни Струве отвечал на эти и сопутствующие им вопросы, мы обретаем одну из впечатляющих картин (по крайней мере, ее чёткий абрис), на которую только способен профессиональный мыслитель, — *общеевропейскую типологию личностного поведения*. Разумеется, эта концепция не только постоянно уточнялась Струве на протяжении всей его жизни, но и претерпевала существенные трансформации.

«Образованный класс» или «интеллигенщина»?

Известно, что одним из главных посылов в исследовании П.Б. Струве проблематики «личной годности» стала тема роковой мутации русского образованного класса — в «интеллигенщину», что и повлекло за собой цепь катастрофических социальных потрясений. В своей наделавшей много шума «веховской» статье «Интеллигенция и революция» (1909) Струве связал этот процесс с «восприятием русскими передовыми умами западно-европейского атеистического социализма» [Струве 1991а: 156]³. В соответствии с таким пониманием процесса, «первым интеллигентом» (а, следовательно, первым «антигероем» русской политической культуры) у Струве в «Вехах» оказался Михаил Бакунин: «Без Бакунина не было бы

² Эту противоположность взглядов либералов и социал-демократов П.Б. Струве чётко изложил на страницах «Освобождения»: «Мировоззрению социал-демократии... чужда идея права. Реакционное насилие самодержавия социал-демократия желает побороть революционной силой народа. Культ силы общий с ее политическим врагом; она желает только другого носителя силы и предписывает ему другие задачи. Право в ее мировоззрении есть не идея должного, а приказ сильного. Мы с социал-демократами (и вообще с революционерами) расходимся не только в тактике и даже не только в программе, но в самых основах мирозерцания. У нас с ними различные принципы». [«Освобождение», 5 октября 1905 г., № 78–79].

³ Разноплановая критика русской интеллигенции содержится в «Вехах» и в статьях Н.А. Бердяева, С.Л. Франка, С.Н. Булгакова, а также других участников сборника, но лишь у Струве — и это отметили и вполне оценили оппоненты — эта критика получила законченное концептуальное обоснование.

„полевения“ Белинского, и Чернышевский не явился бы продолжателем известной *традиции* общественной мысли» [там же].

Этой, «интеллигентской», линии в русской культуре, по мнению Струве, противостояла другая — линия русского «образованного класса»: «Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев — это воистину Богом упоенные люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности» [там же]. Итак, именно в «Вехах» П.Б. Струве провёл крайне ответственное различие двух, принципиально разных, по его мнению, направлений в русской мысли, которое есть различие отнюдь не историко-хронологическое: «Это не звенья одного и того же ряда, это *два по существу непримиримые духовные течения* (курсив мой. — А.К.), которые на всякой стадии развития должны вести борьбу» [там же].

Особо отметим положительное отношение Струве в «Вехах» к фигуре А.Н. Радищева — это важно для последующего изложения. Противопоставляя Радищева — Бакунину, Струве, разумеется, имел в виду не степень их радикализма — она была высока у обоих. Но в отличие от «упоенного Богом» Радищева, Бакунин для Струве — во-первых, атеист, а во-вторых — социалист, и именно в этом для автора — главная разница⁴.

Однако к середине 1920-х гг. оценка Петром Струве Радищева меняется кардинальным образом, и теперь уже именно Радищев объявляется первым (вместо Бакунина) «антигероем» русской интеллигенции. В статье «Радищев и Пушкин», опубликованной в газете «Россия» в октябре 1927 г., существенно поправевший эмигрант Струве противопоставляет Радищева и Пушкина, как, ни много ни мало, представителей *двух противоположных тенденций в русской культуре*: «Вообще в истории русской культуры, быть может, не было людей, более различных по всей их природе, чем Радищев и Пушкин» [Струве 1981a: 69].

В чем же заключается это принципиальное различие? Струве подробно разъясняет: «Радищев чувствителен, слезлив, слабонервен, психопатичен... Наоборот, Пушкин, будучи подобно Гете, восприимчивым ко всем впечатлениям бытия, был, как и Гете, не только физически и душевно здоров, но и исключительно крепок» [там же]. При этом Струве добавляет, что перечитав не так давно «Путешествие» Радищева (налицо, таким образом, не поверхностно-случайный, а специальный и глубокий интерес к проблеме), он «получил неотразимое впечатление, что как автор этого произведения, Радищев уже стоял на границе душевной болезни, в припадке которой он наложил на себя руки» [там же].

И далее Струве ещё более обостряет свою концепцию о двух «психотипах» в истории русской образованности: «Радищев, как неврастеник, не только впадал в преувеличения, но и сам есть какое-то сплошное преувеличение. Пушкин же — воплощенная мера и мерность. Пользуясь тем различием, которое так метко обозначил сам же Пушкин, отличая „восторг“ от „вдохновения“, можно сказать, что Радищев был человеком *восторженным*, а Пушкин — *вдохновенным*» [там же: 70]. Наконец, Струве формулирует финальный тезис, кардинально отличающийся от его ранних интерпретаций феномена Радищева: «Радищев — отец русской интеллигенции и интеллигентщины». Пушкин же — «самый сильный, душевно и духовно здоровый, выразитель свободного от пут учений и лжеучений, творчески мощного русского национального духа» [там же].

⁴ Стоит добавить, что вполне позитивное отношение Струве к Радищеву просматривается и до «Вех», а так же определённое время после их выхода. См. например, полемику с националистом А.С. Меньшиковым в работе «Клевета и на предков, и на Конституцию» начала 1908 г. [Струве 1997a: 103] или статью «Исторический смысл русской революции» в сборнике «Из глубины» 1918 г. [Струве 1991b: 464].

Итак, новая концепция Струве относительно путей развития русского образованного сословия окончательно проясняется: будучи детищем Петра Великого, это сословие получает здоровое продолжение в пушкинской линии русской культуры; линия Радищева же — дефектное ответвление русской культурности, продуктом чего и становится феномен «интеллигенции». И основными проявлениями этой «болезни» для зрелого Струве являются уже не столько атеизм и социализм (Радищев, повторяю, не был выразителем ни того, ни другого), а отклонения, скорее, *психические*: избыточная чувствительность, тяга к преувеличениям, отсутствие меры, что неизбежно ведёт к политическому радикализму.

Попутно заметим, что цитируемая статья Струве 1927 г. отбирает приоритет у Н.А. Бердяева, по недоразумению отданный ему невнимательными исследователями, — о том, что якобы именно он, Бердяев, является автором концепции «Радищев — первый русский интеллигент». Действительно, в «Истоках и смыслах русского коммунизма» (появившихся на английском языке в 1937 г., а на русском — лишь в 1955 г.) Бердяев писал: «Уже в XVIII в. начал зарождаться тип русской интеллигенции... Первым русским интеллигентом был Радищев, автор „Путешествия из Петербурга в Москву“». Слова Радищева: „душа моя страданиями человеческими уязвлена была“ *конструировала тип русской интеллигенции* (курсив мой. — А.К.). Радищев был воспитан на французской философии XVIII века, на Вольтере, Дидро, Руссо. Но он не был антирелигиозного направления, как многие „вольтерианцы“ того времени. Французские идеи преломились в русской душе прежде всего как сострадательность и человеколюбие» [Бердяев 1990: 19]. Эти фразы Бердяева, написанные, повторяю, в 1937 г., помимо прочего, окончательно дезавуируют противопоставление Петром Струве в 1909 г. «образованного класса» и «интеллигенции», как типологию *общевеховскую* (эта ошибка также кочует из работы в работу)⁵.

Разумеется, возникает вопрос: *что конкретно* побудило П.Б. Струве так радикально пересмотреть в 1920-е гг. типологию течений в русском освободительном движении — по сравнению с «Вехами», где он и так уже достаточно далеко ушёл «вправо» в своей критике левого радикализма? Несомненно, что эту эволюцию Струве проделал вслед за своим кумиром — А.С. Пушкиным. Будучи блестящим знатоком творчества Пушкина (об этом ещё пойдёт речь ниже), Струве, разумеется, знал что «Пушкин ценил и поэтический талант, и свободолюбие Радищева» [Струве 1981а: 69]. «Правду, однако, сказать, — продолжает Струве, — Пушкин совсем по-иному любил свободу, чем Радищев», и в поздних суждениях Пушкина о Радищеве (речь, конечно, идёт о таких работах Пушкина, как «Мысли на дороге» 1833–1835 гг. и более поздней специальной статьи «Александр Радищев», написанной весной 1836 г.) «чувствуется непрерывный протест здорового уравновешенного человека против преувеличений развинченно-чувствительного психопата» [там же: 69–70]⁶.

«История с Радищевым» — показатель существенного уточнения Петром Струве критериев «личной годности» в эмигрантский период. Однако многие базовые характеристики, намеченные им ещё в середине 1900-х гг., долгие годы так и остались неизменными.

⁵ Более того, слова Бердяева о «сострадательности и человеколюбии», как «конструирующих» признаках русской интеллигенции, и о Радищеве, как, соответственно, «первом интеллигенте», скорее напоминают аргументацию, развёрнутую против Струве в 1909 г. его критиками — П.Н. Милюковым, И.И. Петрункевичем, Н.А. Гредескулом... Не приходится, однако, сомневаться, что к 1937 г. Бердяев был прекрасно осведомлен, что его бывший соавтор по «Вехам» по крайней мере уже к 1927 г. принципиально уточнил свою «веховскую» трактовку русской интеллигенции.

⁶ Как представляется, прав В.К. Кантор, который полагает, что Пушкин отказался от ранней редакции своего «Памятника»: «вослед Радищеву восславил я свободу...» не только из цензурных соображений, а «уточняя свою поэтическую и политическую позицию» [Кантор 2006].

Формирование концепции «личной годности»

Один из ближайших друзей и соратников П.Б. Струве, как в России, так и в последующей эмиграции, Семен Людвигович Франк, заметил однажды, что одним из «очарований личности» Струве «было сочетание в нем страстной убеждённости, морального пафоса с широким, терпимым, снисходительным отношением к людям, с признанием законности многообразия индивидуальных дарований, призваний и склонностей» [Франк 1997: 480–481].

Именно это внимание к «положительной ценности» каждого конкретного человека, добавляет Франк, исключало для Струве возможность быть «партийным человеком» в собственном смысле слова, «быть плененным какой-либо партийной узостью, односторонностью и пристрастностью». Любимым лозунгом Струве было: «*надо рассуждать по существу*», что для него означало (опять цитирую Франка) «оценивать явления жизни и ценность отдельных людей по их собственному внутреннему содержанию, по их объективной ценности — независимо от того, имеем ли мы дело с политическим другом или врагом». Франк вспоминал, что Струве «постоянно боролся против распространённой в русской либеральной и радикальной журналистике привычки без разбору высмеивать политических противников, высказывать о них огульные отрицательные или пренебрежительные суждения, а также применять разные мерилы моральной оценки к врагам и друзьям». Франку запомнилось, например, возмущение Струве, когда один из штутгартских сотрудников «Освобождения» грубо-пренебрежительно отозвался в одной из статей о литературных достоинствах консерватора М.Н. Каткова: идейно-политические расхождения не могли, согласно Струве, колебать качественные оценки масштабной личности. Франк вспоминал также, что и суждения Струве о личном составе русской правящей бюрократии (даже в эпоху юности, когда тот был ее бескомпромиссным оппонентом), всегда были строго индивидуальны: «Струве отчётливо различал в ней между людьми одарёнными и бездарными, просвещёнными и грубыми, добросовестными и недобросовестными. И такое же различие между людьми он делал позднее в оценке своих политических противников слева... Питая жгучую личную ненависть к Ленину, как натуре злобной и жестокой, он с почти благоговейным уважением отзывался о личности социал-демократки Веры Засулич» [там же].

Создание основного смыслового каркаса концепции «личной годности» можно отнести к 1906–1907 гг. В статье, написанной на новый 1906-й год и опубликованной в «Русских ведомостях» в первом, новогоднем номере, Струве выдвинул важный тезис о том, что судьбу больших социальных событий в конечном счёте определяет *тип человеческого поведения*. Согласно Струве, общественные катаклизмы очень часто провоцируют у людей утрату душевного равновесия и самоконтроля. Такая потеря самообладания может проявляться в двух, внешне несхожих, но в сущности *единых* в своей основе вариантах человеческого поведения. «Жестокие удары, обрушившиеся на нас, — пишет Струве, — могут одних, всегда плывущих по течению, привести к постыдной капитуляции, других — лишить всякого самообладания и довести до иступления. В сущности, эти различные по своим внешним проявлениям состояния *тождественны* (курсив мой. — А.К.), ибо они имеют один глубокий внутренний источник — утрату душевного равновесия» [Струве 1997b: 15].

Струве, таким образом, нащупывает тему, которую потом будет многократно варьировать на протяжении всей дальнейшей творческой биографии. Россия, согласно его умозаключению, страдает не только, а подчас и не столько от консервативной негибкости, апатии и конформизма, сколько от ложного активизма — самонакрутки и самоиступления, иногда искусственно спровоцированных и нагнетаемых. Но размах и горячность — вовсе не признак силы: «Бывают исторические моменты, когда сила может быть только в холодном самообладании, в выдержке, в упорстве, когда размах обнаружил бы только слабость» [там же]. Здесь,

как мне кажется, уже намечается тот основной круг личностных человеческих качеств, который впоследствии будет представлен Струве как эталонный набор «личной годности»: «холодное самообладание», «выдержка», «упорство»...

Практически никто из исследователей творчества Струве не написал ещё подробно о том, что разработка им концепции «личной годности» в известном смысле была результатом глубокой самокритики и переоценки собственной роли в освободительном движении и привычных методов борьбы с режимом. В статье «Русская идейная интеллигенция на распутье», опубликованной в «Полярной звезде» в конце января 1907 г., Струве фактически пишет о *своем личном распутье*, на котором он сам находился ещё совсем недавно. «Политическая мысль интеллигенции наивна ещё в том отношении, что ей чужда идея политической ответственности... Кому не чужда политическая ответственность, тот не станет вкладывать в свою политическую проповедь всё, что он лично считает правильным, независимо от того, как отразится в умах слушателей или читателей такая проповедь и какие реальные плоды она может дать» [Струве 1997с: 16].

Действительно, нельзя не признать, что совсем недавно сам Струве, согласно его же типологии, был типичным «интеллигентом». Но теперь, в начале 1907 г., сделав выводы из прошедшей революции, он мыслит принципиально иначе: «Сознание политической ответственности свидетельствует не о беспринципности, а, наоборот, о чрезвычайно строгом, принципиально-моральном отношении к политической деятельности... Более высокая степень политического понимания обуславливает более высокую мораль политической деятельности» [там же: 16–17].

Особую роль в формировании струвистской концепции «личной годности» сыграл цикл «Размышлений о русской революции», печатавшийся зимой 1907 г. в «Русской мысли». Ключевой здесь стала первая статья, в которой Струве в качестве своеобразного камертона использовал стихи своего друга М.А. Волошина, в частности, его блестящее «Народу русскому: я — скорбный ангел мщения...». Акцентируя внимание на волошинской строке: «*Один ты видишь свет. Для прочих он потух...*», Струве увидел в ней поэтический ключ к расколдованию всей порочности и бесперспективности недавних «революционных событий», прошедших под знаком высокомерного сознания всеми действующими лицами «личной и групповой непогрешимости» [Струве 1997d: 25].

Ведь, по мысли Струве, именно «*сомнение* в своей абсолютной личной правоте или непогрешимости есть основа человеческого отношения к другим людям и соглашения с ними. Там, где отсутствует эта основа, открывается простор для пожирания одних людей другими, сперва идейного, а потом и фактического». В русской же практике «соглашение, или компромисс, недоступен больным политической злобой, насквозь пропитанным „*хмельной травой гнева*“ (ещё одно выражение из Волошина. — *А.К.*) душам» [там же: 25–26].

Центральной публикацией П.Б. Струве на тему «личной годности» является статья «Интеллигенция и народное хозяйство», появившаяся в «Слове» поздней осенью 1908 г., а затем перепечатанная в «Русской мысли».⁷ Струве сразу оговаривается, что материалом работы явилось «всё перечувствованное и передуманное за последние пять лет». По его мнению, было бы ошибочно думать, что пережитые Россией годы были «только политическими», и что, соответственно, страна нуждается «только в политическом поучении, в политических выводах». «Чисто политическая точка зрения пока бесплодна», отмечает Струве, и, хотя случившаяся трансформация на основе Манифеста 17 октября 1905 г. есть «огромный принципиальный шаг вперёд в политическом отношении», Россия столкнулась с совершенно иными проблемами — *проблемами культурными*. Если раньше, отмечает Струве, можно было гово-

⁷ Такое дублирование, нечастое для Струве, подчёркивает значение, которое он сам придавал этой статье [Струве 1997е: 202–208].

речь о том, «что никакой культурный прогресс невозможен без решительного, принципиального политического разрыва с прошлым», то теперь «так же решительно можно утверждать, что никакой политический шаг вперёд невозможен вне культурного прогресса; без такого прогресса всякое политическое завоевание будет призраком, будет висеть в воздухе» [там же: 202].

Прочный правовой порядок в России до сих пор не обеспечен, констатирует Струве, но «всё свести к критике правительства, значило бы безмерно преувеличивать значение данного правительства и власти вообще». Источник «неудач, разочарований и поражений», постигших Россию, лежит, по его мнению, гораздо глубже: «Даже если бы каким-нибудь чудом политический вопрос оказался разрешённым, решение его лишь более выпукло выдвинуло бы значение другой, более глубокой задачи. Это значит: общество должно задуматься над самим собой. Мы переживаем идейный кризис, и его надо себе осмыслить во всем его национальном значении» [там же].

Согласно Струве, в России в ходе революции «потерпело крушение целое мирозерцание, которое оказалось несостоятельным». Основами этого мирозерцания, по его мнению, были две идеи: идея *личной безответственности* и идея *равенства* [там же]. И далее Струве разворачивает принципиально новую в обществоведении аргументацию, венцом которой и становится концепция «личной годности». «В основе всякого экономического прогресса лежит вытеснение менее производительных общественно-экономических систем более производительными. Это не общее место, а очень тяжеловесная истина... Более производительная система не есть нечто мёртвое, лишённое духовности. Большая производительность всегда опирается на более высокую личную годность. А личная годность есть совокупность определённых духовных свойств: выдержки, самообладания, добросовестности, расчётливости. Прогрессирующее общество может быть построено только на идее личной годности, как основе и мерило всех общественных отношений» [там же: 203].

Струве отмечает, что в русской революции идея «личной годности» была «совершенно погашена»: «Она была утоплена в идее равенства безответственных личностей. Идея личной безответственности есть прямая противоположность идее личной годности. Я требую того-то и того-то, совершенно независимо от того, могу ли я оправдать это требование своим личным поведением, во имя равенства всех людей — говорит идея личной безответственности. Я требую того-то и того-то, и берусь оправдать это требование своим личным поведением — говорит идея личной годности. Эти противоположения могут показаться отвлечёнными, но мы с болью в сердце наблюдали и наблюдаем их значение в русской действительности» [там же]⁸.

В 1906–1908 гг., в условиях массовой общественной дезорганизации и дезориентации, когда одна часть общества, выражаясь словами Струве, находилась в ситуации «постыдной капитуляции», а другая — всё ещё пребывала в эйфории «революционного иступления», Струве начинает предъявлять обществу человеческие примеры подлинной «личной годности». Увы, поводом для этого, как правило, являлись печальные факты ухода из жизни этих образчиков гражданского поведения.

⁸ При этом Струве оговаривается, что нарочно избегает в своей аргументации слова «социализм», хотя «идея безответственного равенства часто проповедовалась и проповедуется и на Западе, и у нас под этой популярной кличкой»: «Дело тут в идеях не как отвлечённых построениях, а как живых силах. Если идея личной годности есть идея „буржуазная“, то я утверждаю, что всякий хороший европейский рабочий — органический „буржуа“, который в своем поведении так же не может отрешиться от этой идеи, как человек вообще не может разучиться передвигаться на двух ногах» [там же]. Догадка Струве о том, что идея «личной годности» — универсальна и гораздо более фундаментальна, чем разделение обществ на «социалистические», «буржуазные» и пр., полностью подтвердилась и посткоммунистическим развитием России. Человеческая «негодность» и «безответственность» перебороли в России не только «социализм», но и тот странный «капитализм», который пришёл ему на смену.

Семен Франк в своей известной статье об «умственном складе» Струве заострил внимание читателей на этом принципиальном увлечении своего друга — интересе Петра Бернгардовича к отдельным людям, стремлении максимально глубоко вникнуть в индивидуальную человеческую психологию. В этой связи Франк отмечает, что «жанр некрологов» отвечал глубочайшей потребности Струве не только почтить память ушедших, но и предъявить современникам, пребывавшим в состоянии глубокого психологического стресса, назидательные уроки конструктивного и порядочного человеческого поведения. Франк вспоминал: «В „Русской мысли“ он (Струве. — А.К.) завёл особый ежемесячный отдел некрологов, который он составлял сам, поминая жизнь и деятельность иногда до десяти людей, скончавшихся в истекшем месяце. Он очень дорожил такой биографической работой; когда однажды в редакции возникли сомнения в надобности этого отдела некролога, он горячо воскликнул: „Нет, уж оставьте мне моих покойников“» [Франк 1997: 478].

**Примеры «личной годности»:
Герценштейн, Корсаков, Гейден...**

18 июля 1906 г. в Териоках, недалеко от Выборга, был убит черносотенцами депутат распущенной Первой Думы от кадетской партии Михаил Яковлевич Герценштейн — талантливый экономист, финансист и политик. 20 июля П.Б. Струве опубликовал некролог в «Русских ведомостях», где ярко обрисовал всю глубину общественной потери: «Есть что-то бессмысленно-роковое и ужасное в том, что первой жертвой политического фанатизма, распалённого бесславно торжеством реакции, пал именно такой человек...». Струве справедливо отнёс Герценштейна к числу тех сограждан, которые были «так нужны для великой только ещё начинавшейся строительной работы»: «Это был настоящий спокойный и в то же время не равнодушный, а стойкий до упорства мудрец... Среди всеобщего возбуждения, среди поголовной нервности поражала и в то же время ободряла его спокойная ясность и твёрдость. Верный себе, он оставался одинаково чужд и трусливого пессимизма, и мечтательного оптимизма» (везде курсив Струве. — А.К.). Сила людей, подобных Герценштейну, согласно Струве, «заключается в положительной работе, в творчестве, а не в критике и не в отрицании. Он рвался к этой положительной работе, и чисто политическая борьба была для него тяжёлым долгом» [Струве 1997f: 21–22]. «Спокойствие», «стойкость», «ясность», «твёрдость» — эти человеческие качества на многие годы составят костяк струвистских критериев «личной годности».

Первая половина 1907 г. принесла новые утраты в когорте людей, единых со Струве «человеческой породы». 8 мая 1907 г. скончался Павел Асигкритович Корсаков — хорошо знакомый Струве старейший деятель тверского земства, одно время влиятельный прогрессивный чиновник (уволенный от должности за подписание «земского адреса» новому царю Николаю II), ставший в конце жизни руководителем крупного банковского учреждения. Вот это совмещение либерального мировоззрения и деловой практической хватки особенно привлекало Струве в людях, подобных Корсакову. «Часто мне приходилось слышать отзывы о П.А. Корсакове, в особенности после того, как он стал банковским деятелем, как о типичном „буржуа“, — писал в некрологе Струве. — Я думаю, что покойный не отрёкся бы от этого прозвища; скорее он подхватил бы его и присвоил себе. И, я думаю, он был бы прав. Он был „буржуа“ в том смысле, в котором известные „буржуазные“ черты неотъемлемы от всякой культуры, основанной, с одной стороны, на дисциплине и личной ответственности, а с другой стороны — на стремлении к наивысшей производительности труда. А может ли быть какая-нибудь культура вне этих начал?» [Струве 1997g: 50]. Итак, такие качества как «дисциплина», «личная ответственность», «стремление к наивысшей производительности труда»

встают в ряд характеристик, определяющих, согласно Струве, идеальный для современной ему России тип человеческой личности.

15 июля 1907 г., в ходе заседаний земского съезда, в Москве неожиданно скончался граф Петр Александрович Гейден — бесспорный лидер общероссийского земского движения. Струве, полагавший политическое поведение Гейдена в годы революции практически безупречным, откликнулся на эту кончину некрологом в «Русской мысли». «Смерть графа П.А. Гейдена, — писал он, — произвела сильнейшее впечатление в самых широких кругах русского общества. Почувствовалось, что ушёл человек, в котором с удивительной красотой и законченностью сочетались свойства и черты, драгоценные для нашего времени» [Струве 1997h: 36].

По словам Струве, передовая российская общественность с «неподдельным восхищением и глубочайшим уважением» следила за деятельностью этого «благородного старца» — «всегда твёрдого и всегда деликатного, всегда прямого и всегда сдержанного». Сначала на посту Президента Вольного экономического общества, а затем во главе немногочисленной умеренно-либеральной фракции в Первой думе, П.А. Гейден явил себя образцом особого человеческого стиля: «У графа Гейдена был действительно во всем его существе тот стиль свободы и независимости, который делал непереносимым для него всякий рабий образ и всякое хамство. Его одинаково отталкивали и холопство толпы, и хамство революционно-интеллигентское, и хамство помещичье, бюрократическое... В современном кризисе нужны эти люди, которые в политическом движении являются представителями разума и меры, твёрдости и сдержанности» [там же: 37]⁹.

Проблема «отрицательного отбора»

В первом номере центристского «Московского еженедельника» за 1908 г. Струве опубликовал принципиальную статью под названием «Культура и дисциплина». В ней он постарался проанализировать причины поражения русской революции и пришел к выводу, что они кроются в том, что русское общество, «вдвинутое» в революционные катаклизмы, было лишено *сложившихся механизмов поддержания культуры и дисциплины*. «Дисциплина для личности и общественных групп означает сознательное подчинение известным общеобязательным нормам, вытекающим из существа той или другой объективной культурной задачи. Там, где жива идея дисциплины, там невозможно, чтобы студенты командовали профессорами; чтобы рабочие „явочным порядком“ выбрасывали и упраздняли предпринимателей (что есть не социализм и даже не классовая борьба, а хулиганство); чтобы во главе людей стояли те, кто умеют к ним подлаживаться и им льстить, а не те, кто знает надлежащий путь и смело указывает его» [Струве 1997i: 88].

Поэтому политические процессы в России по сравнению с устоявшимися обществами Запада протекают принципиально иным образом: «В обществе, в котором есть дисциплина политического поведения, максимум политического авторитета для „толпы“ приобретали та-

⁹ На уникальность личности графа Гейдена указал в своем печальном отклике на его смерть даже такой его политический «оппонент слева», как П.Н. Милюков: «Фигура редкого благородства, с кристальной чистотой помыслов... Этот высокий, стройный старик с лицом методистского проповедника оказался драгоценным, редким продуктом высшей культуры, случайно свалившемся в самый сумбур русской жизни с какой-то чужой планеты... Провести эти горячие годы в самом пекле политической борьбы и выйти из нее без малейшей царапины, — это счастье, которое достаётся немногим...». Как видим, если Милюков считает феномен Гейдена — «драгоценной случайностью», то Струве склоняется к оценке графа как «образцового гражданина», но при этом лидера определённого — *либерально-консервативного* — направления в русской культуре. Подробнее об откликах на смерть гр. Гейдена, в том числе о позорной — иначе не назовёшь — статье В.И. Ульянова-Ленина «Памяти Гейдена» [Шевырин 2007].

кие люди, как Гладстон и Дизраэли; в обществе, в котором отсутствовала всякая тень подобной дисциплины, максимум авторитета доставался у „толпы“ на долю Гапонов и Аладыных» [там же: 88–89].

Эту же тему Струве развил в своих «Размышлениях на политические темы» в мае 1909 г. в газете «Слово». По его мнению, закономерностью русского освободительного процесса является постоянное сетование на «отсутствие талантливых вождей». «В этом обвинении, продолжает Струве, интересно полное извращение истинного соотношения между „ведущими“ и „ведомыми“ в эпоху русской революции. Кто имел в русском освободительном движении наибольшее личное обаяние и, в силу того, мог иметь наибольшее влияние и сконцентрировать в себе наибольшую сумму авторитета? Именно люди, которые имели наименьшие права на авторитет. Русская „толпа“... сама создавала себе авторитеты. Не подчинялась авторитету, как некоему объективному превосходству, а превращала в авторитет то, что угождало и „служило“ ей, толпе. Вот почему до 17 октября (1905 г. — А.К.) единственным действительно влиятельным человеком в массовом народном движении был Гапон. Вот почему самым популярным в широких кругах деятелем первой Думы был г. Аладын» [Струве 1997]: 137–138].

Напротив, люди по-настоящему политически талантливые (и именно поэтому чаще всего умеренные и независимые) почти всегда отвергаются «толпой» — по причине их мнимой «реакционности». «„Реакция“, „реакционер“, — пишет Струве, — значит, его нечего слушать не только теперь, но и вообще. В стадном обществе действия всякой смелой, дерзающей мысли необычайно легко пресекаются такими обвинениями... При той бесшабашной легкости, с которой у нас раздаются и воспринимаются широкой публикой подобные политические аттестации, смелые и независимые люди попадают в „подозрение“, а люди, умеющие думать и говорить так, как это нравится „большинству собрания“, люди, мыслящие и чувствующие в меру настроения толпы, становятся авторитетами и вершителями. т. е. в корне извращается и подрывается та духовная и моральная основа, на которой может держаться авторитет как нечто здоровое и законное... — истинный, а не облыжный» [там же: 137].

Именно эта хроническая «неспособность к качественным оценкам людей», а вовсе не «нехватка людей» обуславливает отсутствие в России подлинных, а не мнимых лидеров: «„Толпа“ не умела ни различать, ни признавать истинного авторитета. Именно в этом сказались политическая и, общее, духовная незрелость всего народа, и в том числе интеллигентного общества. В дни свобод такого человека, как Д.Н. Шипов, в широких кругах трактовали едва ли не как реакционера... В обществе с таким духовным складом выдвигать... обвинения в „реакционности“ значит не только увековечивать его верхоглядство, но и всячески поддерживать в нем черту, которая оказалась едва ли не самой пагубной для торжества новых государственных порядков» [там же: 138].

Констатируя склонность русской радикальной общественности призывать на лидерские роли «фатально негодных» людей, Струве, помимо предъявления обществу примеров подлинной «годности», начинает не менее важную параллельную работу — вскрытие механизмов «отрицательного отбора» в русском социуме, демифологизацию крайне опасных для дела русской свободы «ложных авторитетов». Рассматривая ретроспективно эту вторую сторону струвистской концепции «личной годности», можно вычленив в рассуждениях Струве *трех исторических деятелей*, которых он наиболее часто приводит в качестве примеров «отрицательного отбора». Выбор этих персонажей глубоко закономерен: каждый из них сыграл по-своему выдающуюся (хотя и в глубоко негативном смысле) роль в определённых исторических фазах русского развития, значимых как для России в целом, так и лично для Струве. Это: Георгий Аполлонович Гапон, руководитель петербургского рабочего движения 1904—

1905 г.; Борис Викторович Савинков — лидер антибольшевистской борьбы; Владимир Ильич-Ульянов Ленин — вождь большевиков и глава советского правительства¹⁰.

**Примеры «отрицательного отбора»:
Георгий Гапон**

Фигура Георгия Аполлоновича Гапона была, по существу, первой значимой фигурой, олицетворившей для Струве его идею «отрицательного отбора». Вообще, оценка Гапона его современниками из оппозиционного правительству лагеря претерпела со временем разительную трансформацию. Если на волне популярности и влияния Гапона среди питерских рабочих, самые разные силы — социал-демократы, социалисты-революционеры, деятели «Союза Освобождения» — наперебой хвалили его, стремились завлечь в свои ряды, любыми способами «отбив» у конкурентов (в этом деле «отметились» Горький, Ленин, Чернов и др.), то после падения и гибели священника-расстриги те же самые люди начали наперегонки очернять Гапона, подчёркивая собственный приоритет в разоблачении его «ничтожности» и «продажности».¹¹

Сам П.Б. Струве неоднократно отмечал, что он неплохо лично знал Гапона, и в разные периоды им приходилось «подолгу беседовать» [Струве 1997j: 138]. Нет сомнений и в том, что достаточно долгое время Струве, возглавлявший радикальный фланг «Союза Освобождения», очень рассчитывал на Гапона, находившегося в тесном контакте с Петербургским отделением «Союза» — с его лидерами Е.Д. Кусковой, С.Н. Прокоповичем, В.Я. Яковлевым-Богучарским, с которыми бывший за границей Струве, в свою очередь, находился в постоянной переписке. Известно также, что политические разделы гапоновской петиции царю 9 января 1905 г. были написаны именно членами «Союза освобождения», а само шествие, которое организовал и вёл за собой Гапон, было воспринято всеми как ещё одна манифестация «Союза» Освобождения», одним из следствий чего был арест полицией его руководителей [Пайпс 2001а: 521–522].

По мнению Р. Пайпса, Струве воспринял январские события в Петербурге как *большую личную победу*: «То, что Союзу Освобождения удалось убедить единственную легально функционировавшую рабочую организацию включить в свою петицию требование политической свободы, тем самым выразив согласие совместно с другими социальными классами участвовать в создании конституционного правительства, стало его величайшей, единственной в своем роде победой. Сбылись самые смелые ожидания Струве: весь народ — от аристократа славянофила до простого рабочего — встал под знамёна политической свободы. Это был триумф его программы и его стратегии: все классы и практически все партии страны поняли, что свобода является неперенным условием жизни. Достижение ее перестало быть абстрактной идеей, с которой носились „обуржуазившиеся“ помещики, и стало целью всего народа» [там же: 522].

¹⁰ В качестве «негодного», «ложного» лидера часто упоминался Струве в 1906–1907 гг. и Алексей Федорович Аладьин — лидер радикалов из «трудовой группы» в Первой Думе, популярный думский оратор демагогического склада. Представляется, однако, что имя «Аладьин» было для Струве неким собирательным образом для характеристики целой группы перводумцев-радикалов, куда, помимо Аладьина, входили также депутаты Жилкин, Аникин др.

¹¹ Опубликованные документы, исходящие в том числе от высокопоставленных сотрудников императорских спецслужб, убедительно свидетельствуют о том, что контроль этих спецслужб над Гапоном был утерян уже ко второй половине 1904 г., и события «кровавого воскресенья» 9 января 1905 г. явились для них полной неожиданностью [См., напр.: Герасимов 2004: 161–163].

По свежим следам январских событий Струве опубликовал «гапоновско-освободенческую» петицию в своем «Освобождении»¹² и лично писал передовицы с осуждением царской расправы над рабочими. «Народ шёл к нему, народ ждал его. Царь встретил свой народ. Нагайками, саблями и пулями он отвечал на слова скорби и доверия. На улицах Петербурга пролилась кровь, и разорвалась навсегда связь между народом и этим царём... Он сам себя уничтожил в наших глазах — и возврата к прошлому нет. Эта кровь не может быть прощена никем из нас... Возмездием мы освободимся, свободой мы отомстим...» — эти слова из «освободенческой» статьи Струве [Струве 1905] не только по смыслу, но порой и текстуально совпадают с прокламациями самого Гапона, распространяемыми после «Кровавого воскресенья».

Струве продолжал делать ставку на Гапона и в последующие месяцы. Когда летом 1905 г. тот через своих эмиссаров в России принялся за создание новой организации, которую предполагалось назвать «Всероссийским рабочим союзом», Струве активно поддержал это начинание. В июле 1905 г. он писал в Петербург С.Н. Прокоповичу: «Следует, не теряя времени, приехать за границу для переговоров и соглашения с Гапоном и основания совместно с ним рабочей партии и начертания плана компании. Это станет крупным делом и его нужно как можно скорее подвинуть вперёд» [Потолов 1998; Потолов 2009].

То, что после поражения революции Струве стал давать Гапону, своему бывшему тактическому союзнику, самые отрицательные характеристики, было признанием его — Струве — личного поражения и в известном смысле его покаянием за бывшее *«искушение успехом любой ценой»*. Струве вынужден был признать: «Это был человек при всей своей сметливости духовно совершенно ничтожный и глубоко бесчестный. Но в итоге встреч с этой любопытной „исторической фигурой“ я понял и теперь совершенно ясно вижу, что не вопреки отмеченным свойствам, а именно *благодаря* им он в свое время явился авторитетом и приобрел такое влияние на умы» [Струве 1997j: 138]¹³.

Примеры «отрицательного отбора»: Борис Савинков

Подобно тому, как Георгий Гапон явился несомненным лидером самого известного и массового выступления петербургского пролетариата, так у антибольшевистской борьбы появился свой «герой», глубоко взволновавший умы современников, и среди них — Петра Струве. У Бориса Викторовича Савинкова, как известно, были свои яростные почитатели: от четы Дмитрий Мережковский — Зинаида Гиппиус и вплоть до поэта Максимилиана Волошина, который предрекал Савинкову «чрезвычайную роль в окончании русской смуты». С другой стороны, было у Савинкова немало недоброжелателей и врагов, в том числе и в эмиграции, часто формировавшей свои политико-эстетические предпочтения на «духе отрицания». Так, Георгий Адамович, критически оценивая литературные опыты Савинкова, укорял его в «обмельчавшем байронизме», а Владислав Ходасевич, «в пику» нелюбимой им Гиппиус (литературной покровительнице Савинкова и автору его литературного псевдонима «Ропшин»), писал, что в эмигрантских стихах Савинкова-Ропшина «трагедия террориста низведена до истерики среднего неудачника»... Пытаясь преодолеть клановую ангажированность эмигрантских партий, П.Б. Струве в ряде работ попытался сформировать по возможности объек-

¹² «Освобождение», № 65, 27 января 1905 г.

¹³ И позднее, в эмиграции, Струве не раз вновь и вновь поражался тому обстоятельству, что первым в русской истории вывести рабочие массы русской столицы на улицы — «факт, огромный и сам по себе и по своим последствиям» — удалось священнику Гапону, которого сам Струве знал, как «малоинтересное ничтожество». [См. напр.: Струве 2004а: 172].

тивистский взгляд на «феномен Савинкова» в русле созданной им концепции «личной годности».

Струве и Савинков были знакомы: сначала по совместной работе в октябре 1917 г. во Временном Совете Российской Республики (Предпарламенте), а затем — гораздо более тесно — в конце 1917 г. на Дону, в ближайшем окружении генералов Корнилова, Алексеева, Каледина. Тесное общение было продолжено в Москве весной-летом 1918 г., когда они оба работали в подпольных антибольшевистских группах. «Я не раз ходил с ним по Москве и участвовал в ряде важнейших практических совещаний, — вспоминал Струве. — Нас обоих в два счета могли поставить „к стенке“» [Струве 2004: 21]. Через некоторое время, уже в Париже, Струве и Савинков начали активное сотрудничество в рамках эмигрантских антисоветских организаций [Пайпс 2001b: 346–347, 364].

По мнению П.Б. Струве, загадка личности Савинкова (как и его последующей трагической гибели) состояла в том, что тот, будучи «весьма одаренным, и одаренным именно активностью», вовсе не имел «железной воли». А потому он «никогда не мог окончательно-несдвигаемо уяснить для себя вопрос: *«революция или Россия?»*» (курсив Струве. — *А.К.*). Именно потому, что Савинков вовсе не обладал «железной волей» (все рассказы об этом, по мнению Струве, есть вымысел по преимуществу), он «не мог обуздать своего непомерного честолюбия» и совершить действительно волевой и мужественный акт — «пойти прямо и просто за Корниловым» [Струве 2004: 21]. Воля, мужество, действенность, согласно Струве, в конечном счете проявляются не в показной и brutальной решительности, а, напротив, — в самообуздании и самоконтроле. У Савинкова же «была неутолимая жажда личного значения и влияния, ненасытная тяга к первой роли, и поэтому, как это часто бывает, он не получил того значения и не сыграл той роли, которые могли бы ему достаться, если бы он их не... искал» [там же].

К размышлениям о Борисе Савинкове Струве вернулся в связи со смертью в эмиграции Н.В. Чайковского — старейшего русского народника, впоследствии активного участника антибольшевистской борьбы, одно время тесно сотрудничавшего с Савинковым. Интересно было наблюдать Чайковского, писал Струве в некрологе, рядом с формально «близким» ему Савинковым: «Трудно представить себе более различных по душевному складу людей». Если «уважающий культуру и тянувшийся к религии» мечтатель-демократ Чайковский, согласно Струве, «был простым и простодушным человеком, и поэтому ему была присуща та мудрость, которая не даёт человеку быть упрости́телем», то в самолюбивом Савинкове «не было ни грана простодушия»: «Он весь был себялюбие и расчёт, с налётом не мечтательного утопизма, а, если угодно, жестокой фантастики». Струве было трудно представить, как незадолго до собственной смерти Чайковский воспринял известие о гибели Савинкова в большевистской Москве: «Быть может, только тогда, когда эта бурная и ослепительная жизнь так завершилась, Николай Васильевич понял, как его простая душа была далека от сложной, себялюбивой душевной извилистости Савинкова» [Струве 2004b: 114].

А в статье «Нетерпение или активная выдержка», опубликованной первоначально в июне 1926 г. в «Возрождении», Струве опять возвращается к фигуре Савинкова и проблеме «ложного активизма». «Задача непосредственного политического действия в деле борьбы с угнетающим Россию III Интернационалом, — писал Струве, — бесконечно трудна. Она требует сочетания величайшей активности с величайшей *выдержкой*... Трудности нашего положения сейчас, трудности активной борьбы состоят вовсе мне в простом отсутствии активности с чьей-либо стороны, а в объективной сложности и трудности той обстановки, в которую поставлены действенные души и активные силы. Не в косности, не в вялости чьей-либо тут дело, а в трудности самой задачи» [Струве 2004c: 124–125].

Вот почему, полагает Струве, задачей «непосредственного политического действия» является не прямолинейный активизм, а «подбор личных сил»: «Не все, кто призывает к действиям, к сожалению, годны для них. Какие огромные надежды и иностранцы, и очень широкие русские круги возлагали на энергию и способности Б.В. Савинкова, и как они глухи были к нашему скептицизму в отношении к этому весьма одаренному, обладавшему действительно огромной энергией и исключительным опытом в непосредственном политическом действии человеку! Те, кто верили в Савинкова, просто не имели известного, необходимого для подбора личных сил „чувства“. Они не ощущали, не осязали, что в Савинкове не было обязательного в наши дни морально-психологического станового хребта, того духовного стержня, на котором не может не держаться в наше время стойкое политическое действие. Они не обоняли того тлена, который был в Савинкове и который сочетался в нем и со „старорежимным“ восприятием политической борьбы наших дней» [там же: 125].

И Струве делает важный вывод, а точнее почти дословно повторяет свою догадку, сделанную ещё в России на материале «первой революции»: «В русской общественности всегда пагубно отражался один основной, необыкновенно стойкий порок: неспособность качественной расценки людей. Когда-то я об этом писал, имея в виду расцветшую на моих глазах и постыдно канувшую фигуру Гапона. Для той современной борьбы, которую в бесконечно трудных условиях должна вести национальная Россия, сугубо важна правильная расценка людей. Она важна не только потому, что предлежащая задача объективно трудна. Она важна и ответственна ещё и потому, что в трудных условиях и зарубежного существования, и того ужасающего гнёта, под которым живёт Внутренняя Россия, невозможны легкомысленные опыты с людьми, необходимо точное знание их объективной ценности, их личной годности и личной стойкости» [там же: 125–126].

Наконец, Струве подробно пишет о Савинкове в начале 1928 г. в статье «Действительность и условия ее успеха. Некоторые морально-политические уроки», опубликованной в газете «Россия». Ему (как и очень многим в эмиграции), по всей видимости, по-прежнему не даёт покоя тот факт, что «в новейшее время», после гражданской войны был «только один опыт активной революционной борьбы против большевиков, опыт более или менее законченный, отошедший в историю и потому подлежащий обдумыванию и обсуждению с общих точек зрения. Это — действительный опыт Савинкова» [Струве 2004d: 376].

«Вне всякого сомнения, в очередной раз повторяет Струве, Савинков был не только умный и даровитый человек, это был умный и опытный заговорщик. В нем было много той предприимчивости и „выдумки“, которые необходимы для того, чтобы творить „авантюры“» [там же]. Но хотя «авантюра» есть «необходимый элемент заговорщической деятельности», Савинков, по мнению Струве, обладал авантюризмом особого типа: «Авантюризм, будучи, так сказать, формально — психологическим условием и необходимой оболочкой заговорщической политической работы, таит в себе большую опасность. Из условия и орудия работы он может превратиться в основную, задающую тон, поглощающую стихию этой работы; из психологической оболочки — стать душевным ядром или осью, вокруг которой начинает вращаться личность. Это и случилось с Савинковым» [там же: 376].

Но помимо этих качеств, которые «извращали всю контрреволюционную работу Савинкова, отрывая его от живых источников новой, порождённой крушением исторической России, патриотической энергии», — в его личности, по мнению Струве, «был один огромный порок, который становился все явственнее по мере того, как он внешне отрывался от своей прежней революционной среды, не будучи... способен внутренне-душевно пристать к новой, контрреволюционной белой среде». Струве пишет: «Савинков по своей натуре был лишён нравственного пафоса и морального стержня. Он был самолюбив и честолюбив. Это не беда, и даже для крупных исторических деятелей известная доза самолюбия и честолюбия есть

необходимое *осоление* их общественного призвания и творчества. Но никогда ни один общественный деятель не может безнаказанно и для дела, и для своей роли в нем превращать себя из орудия объективной высшей задачи в ее цель и венец» [там же: 376–377].

«В каких бы условиях не производилась политическая работа, делает важный вывод Струве, в удушливом ли предбурье скрытой или в бушующем урагане открытой гражданской войны, на относительно ли мирном и плавном ходу государственного корабля или же в перипетиях внешних столкновений народов — такая политическая работа должна быть не только на словах, но и на деле подчинена началу служения. Ни монарх, ни революционер не могут безнаказанно переставать быть слугами своего призвания и своей задачи и становиться их господами. В контрреволюционной работе Савинкова как-то ослабело и сникло начало служения, которое никогда не было сродни его эгоцентрической натуре» [там же: 377–378].

Примеры «отрицательного отбора»: Владимир Ульянов-Ленин

Как известно, в середине 1890-х гг. молодой марксист П.Б. Струве достаточно тесно сотрудничал с В.И. Ульяновым-Лениным. За их идейную близость и общую решительность в борьбе с русским народничеством их «политический тандем» даже прозвали «близнецами». Впоследствии, по не вполне объясненным самим Струве причинам, он избегал подробно высказываться о бывшем приятеле, с которым позднее радикально разошёлся. Воспоминания Струве о Ленине, написанные в эмиграции в конце жизни, были опубликованы сначала в 1934 г. в «Slavonic Review» на английском языке, и только в 1950 г. (уже после смерти Струве) увидели свет на русском языке в издаваемом теперь уже С.П. Мельгуновым «Возрождении» [Струве 1950]. Тем не менее, без этой оценки Ульянова-Ленина концепция «личной годности» П.Б. Струве была бы очевидно неполной.

Согласно воспоминаниям Струве, он в первый раз увиделся с Владимиром Ульяновым-Лениным «в осенний или зимний день 1894 г.» в квартире инженера Классона на Охте, почти напротив Смольного института. «Впечатление, с первого же разу произведённое на меня Лениным — и оставшееся во мне на всю жизнь — было неприятное, — вспоминал Струве. — Неприятна была не его резкость. Было нечто большее, чем обыкновенная резкость, какая-то издёвка, частью намеренная, а частью неудержимо стихийная, прорывавшаяся из самых глубин его существа в том, как Ленин относился к людям, на которых он смотрел, как на своих противников. А во мне он сразу почувствовал противника... В этом он руководился не рассудком, а интуицией, тем, что охотники называют „чутьём“» [Струве 1950, № 10: 114].

Характер Ульянова-Ленина Струве имел возможность позднее сравнить с характером Г.В. Плеханова. «В нем (Плеханове. — А.К.) тоже была резкость, граничившая с издёвкой, в обращении с людьми, которых он хотел задеть или унижить. Все же, по сравнению с Лениным, Плеханов был аристократом. То, как оба они обращались с другими людьми, может быть охарактеризовано непереводаемым французским словом „cassant“. Но в ленинском „cassant“ было что-то непереносимо плебейское, но в то же время и что-то безжизненно и отвратительно холодное» [там же: 115]¹⁴.

«В своем отношении к людям Ленин подлинно источал холод, презрение и жестокость», — вспоминал Струве, делая при этом парадоксальный вывод: «Мне было ясно даже тогда, что в этих неприятных, даже отталкивающих свойствах Ленина был залог его

¹⁴ Это впечатление от Ленина разделяла и Вера Ивановна Засулич, которую Струве называл «самой умной и чуткой из женщин», каких ему приходилось встречать. Засулич, по словам Струве, «испытывала к Ленину антипатию, граничившую с физическим отвращением — их позднее политическое расхождение было следствием не только теоретических или тактических разногласий, но и глубокого несходства натур» [там же].

силы, как политического деятеля: он всегда видел перед собой только ту цель, к которой шёл твердо и непреклонно. Или, вернее, его умственному взору всегда преподносилась не одна цель, более или менее отдалённая, а целая система, целая цепь их. *Первым звеном в этой цепи была власть в узком кругу политических друзей* (курсив Струве. — А.К.). Резкость и жестокость Ленина — это стало ясно мне почти с самого начала, с нашей первой встречи — была психологически связана, и инстинктивно и сознательно, с его неукротимым властолюбием. В таких случаях обыкновенно бывает трудно определить, что служит чему, властолюбие ли служит объективной цели или высшему идеалу, который человек ставит перед собой, или, наоборот, эта задача или этот идеал являются лишь средствами утоления ненасытной жажды власти» [там же: 115–116].

«Самой разительной чертой» в Ленине, открывшейся Струве «с первой же встречи», была именно «жестокость» — «в том самом общем философском смысле, в котором она может быть противопоставлена мягкости и терпимости к людям и ко всему человеческому» [там же: 116].

В соответствии с этой «преобладающей чертой» в характере Ленина, продолжает Струве, «главной установкой» его (Струве употребляет здесь популярный немецкий психологический термин *Einstellung*) была «ненависть»: «Ленин увлёкся учением Маркса прежде всего потому, что нашёл в нем отклик на эту основную установку своего ума. Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, стремящейся к конечному уничтожению и истреблению врага, оказалось конгениально его эмоциональному отношению к окружающей действительности. Он ненавидел не только существующее самодержавие (царя) и бюрократию, не только беззаконие и произвол полиции, но и их антиподов — „либералов“ и „буржуазию“. В этой ненависти было что-то отталкивающее и страшное; ибо коренясь в конкретных, я бы сказал даже животных, эмоциях и отталкиваниях, она была в то же время отвлечённой и холодной, как самое существо Ленина» [там же].

Таким образом, общая идея мемуаров Струве о Ленине состояла в том, что, не отрицая тесное «умственное общение» («особенно в течение многих зимних часов 94–95 гг.») Струве «никогда не был и не мог быть в близких личных отношениях с ним», ибо «этот человек был по своему складу ума совершенно мне чужд» [Струве 1950, № 9: 121]¹⁵. «В сущности, в лице Ульянова-Ленина и моем столкнулись две непримиримые концепции — непримиримые, как морально, так и политически и социально. Каждый из нас понимал это в то время, но смутно; лишь позже мы отчётливо осознали это» [Струве 1950, № 10: 109].

Герои Белой борьбы

Большой и разнообразный материал для построения Петром Струве его концепции «личной годности» дало ему участие в Белом движении. В оценке этого явления, которое Струве всегда анализировал не только политически, но, возможно, в первую очередь, *этически*, проявилась глубокая христианско-либеральная подоснова его «человеческой типологии».

Так, Струве всегда отказывался мерить «личную годность» критериями «эффективности» и «успеха». Действительно, все герои Струве, как уже перечисленные (Герценштейн, Корсаков, граф Гейден), так и не перечисленные, — это люди формально «побеждённые». Но Струве, как истинному христианину, глубоко претили «низость и хамство тех, кто обо всем

¹⁵ Об эмоционально-психологической несовместимости Ленина и Струве, даже в период их активного идейно-политического сотрудничества говорит и такой важный свидетель, как Н.К. Крупская. Крупская вспоминает: «Для отдыха брал Струве читать Фета. Кто-то в воспоминаниях своих писал, что Владимир Ильич любил Фета. Это не верно. Фет — махровый крепостник, у которого не за что зацепиться даже, но вот Струве действительно любил Фета» [Крупская 1926: 26].

судил и судит по успеху». Вот и подвиг участников Белой борьбы для него — это подвиг *«побеждённых непобедимых»*.

Летом — осенью 1926 г. руководимая Струве газета «Возрождение» напечатала серию «Очерков Ледяного похода», написанных близким другом Струве — Николаем Николаевичем Львовым. Речь в очерках шла о легендарном 1-м Кубанском (Ледяном) походе Добровольческой армии из Ростова в Новочеркасск в феврале-апреле 1918 г., в ходе которого сложился костяк и была сформулирована идеология Белой армии. «Ледяной поход», по мнению Струве, стал «целой эпопеей героизма и жертвенности», которая есть «неотделимое и драгоценное достояние национальной России, тот свет, который светил, светит и будет нам светить во всякой тьме»: «Здесь излились и просияли такие нравственные силы, здесь собраны такие душевные сокровища, которые будут вдохновлять и питать целые поколения» [Струве 2004е: 173].

Но «Ледяной поход», согласно Струве, явился образцом «самого трудного героизма» — героизма, «который уничтожался и уничтожается до сих пор со всех сторон». «Были и есть враги, — пишет Струве, — и злостные, нападающие, и клеветующие. Но не лучше, а может быть, хуже их равнодушные и холодные, проходившие мимо. И всего хуже, может быть, даже не вражда и злословие, не равнодушие и холод, а *низость* и *хамство* тех, кто обо всем судил и судит *по успеху*, кто увлекался и восторгался, когда ждал победы, но кто отпал духовно и изменил душевно, когда счастье отвернулось» [там же].

То, какой высокий статус придавал сам П.Б. Струве этической стороне своей «человеческой типологии» применительно к оценке Белого движения, свидетельствует небольшая, но весьма принципиальная статья, опубликованная в «России и славянстве» в дни празднования в зарубежье 70-летнего юбилея старшего и стариннейшего внутрилиберального оппонента Струве — Павла Николаевича Милюкова [Струве 2004f: 434–436]. Струве сразу оговаривается, что, по большому счёту, его претензии к Милюкову не носят чисто политического характера, и уж во всяком случае «тут не играют вовсе роли какие-нибудь счёты „правых“ с кадетским лидером о том, что было до революции 1917 г.». «Наше разногласие и разночувствие с Милюковым как политиком вообще не укладывается в чисто политические рамки», — настаивает Струве. Речь, по его словам, идёт о гораздо более существенном — *о принципиально разном отношении к людям* и их личностным переживаниям.

По мнению Струве, П.Н. Милюков всегда поражал его «исключительным искусством располагать идеи, аргументы, и в этом смысле „аранжировать“ — „вещи“». Милюков, согласно Струве, — исключительный по ловкости «аранжер и калькулятор», т. е. «устроитель и расчислитель» идей и идейных комбинаций: «Если бы политика была шахматной игрой и люди были бы деревянными фигурками, П.Н. Милюков был бы гениальным политиком» [там же: 436].

Однако, «будучи вдумчивым и осторожным аранжером и методическим и осторожным калькулятором идей и в этом смысле вещей», Милюков, по мнению Струве, *«роковым образом не способен видеть и ощущать живых людей»* (курсив мой. — А.К.), им сочувствовать и со-страдать, а потому на них влиять, ими управлять, ими распоряжаться» [там же]. В области «со-чувственного проникновения в живые человеческие души П.Н. Милюков достаточно бессилён, и в этом причина, субъективная и объективная, его роковых внутренних неудач как политика в широчайшем смысле слова». Отстранившись от «белой армии» после крымской эвакуации 1920 г., Милюков, по мнению Струве, «как-то задел и ранил самое чувствительное место в национальной душе русских людей, пребывающих в изгнании» [там же: 435–436].

Петру Струве принадлежат удивительные личностные характеристики главных героев Белой борьбы — за этими короткими зарисовками совершенно очевидно стоит огромная мыслительная работа. В этом смысле выделяется, например, короткая, но чрезвычайно емкая

по смыслу речь Струве на публичном заседании 13 апреля 1923 г. в Праге в память Л.Г. Корнилова, устроенном Галлиполийским студенческим землячеством и Русским Национальным Студенческим объединением. Рассказывая эмигрантской молодёжи о легендарном Корнилове, Струве оговаривается, что «быть может, нет для исторической психологии задачи более трудной и в то же время более привлекательной, чем следить за разными видами, формами и этого замечательного явления — человека, ставшего легендой» [Струве 1997к: 164].

Струве крайне высоко ценил Л.Г. Корнилова, с которым был близко знаком: «В нем было величайшее напряжение героической воли, героизмом заражавшее все окружающее... Он был деятельный герой, сам ставивший себе задачи, своим волевым напряжением их творивший и осуществлявший и этим напряжением зажигающий других. Железный исполнитель долга и деятельный герой-творец в одном лице, живое воплощение героической воли и ее магнетизма» [там же: 165].

Но в своей речи, очень далёкой от мемуарной описательности, Струве не хочет ограничиться апологетикой Корнилова. Не менее важна, полагает он, сравнительная оценка сильных характеров: «люди распознаются в сопоставлении с другими, сравнимыми с ними» [там же: 165]. И чтобы дать аудитории точное понимание феномена Корнилова, Струве сравнивает его с другими легендарными лидерами Белой борьбы — М.В. Алексеевым, А.М. Калединым, А.В. Колчаком. Вот эти сравнительные характеристики, которые можно считать вершинами аналитических возможностей концепции «личной годности».

Алексеев: «Как человек долга, т. е. как трезвый слуга-исполнитель его велений, М.В. Алексеев был сильнее и как-то... осязательнее Корнилова, но того особенного и собственного напряжения героической воли, которое было в Корнилове и излучением которого он заражал все вокруг себя, в Алексееве не было. В его трезвой и сухой личности не было корниловского магнетизма» [там же]. Каледин: «Каледин был героической фигурой — это был какой-то римлянин в обличье донского казака. Но, будучи верным исполнителем долга, суровым и к себе и к другим, Каледин оказался буквально не в силах жить и устоять в удушающей атмосфере гражданской войны. Он был воином, но не борцом» [там же]. Колчак: «В нем нервность натуры, в этом отношении почти женственной, не давала воле доходить до того самобытного героического напряжения, которого достиг Корнилов. Колчак был гораздо больше поставлен другими, чем сам стал на место, на котором он стоял. У Колчака не было той неукротимой и в то же время стальной активности, какую был одарён Корнилов» [там же: 165–166].

А вот апофеоз речи Струве, где он сводит все характеристики воедино, предварительно оговорившись: «Я ощущаю их личности в каких-то физических образах и символах». «Алексеев — это массивная железная балка-стропило, на которое в упорядоченном строе и строительстве можно возложить огромное бремя и оно легко подымлет это бремя»; «Каледин — это мощный камень, как бы вросший в свою историческую почву и вне ее беспомощный и слабый»; «Колчак — это сосредоточенный в целую даровитую личность нерв, чувствительная струна, которой угрожало порваться или быть прорванной»; «Корнилов — это стальная и живая пружина, которая, будучи способна к величайшему напряжению, всегда возвращается к исходному положению, подлинное воплощение героической воли» [там же: 166]¹⁶.

¹⁶ Взяв за правило писать только об ушедших людях, П.Б. Струве позднее опубликовал некрологи на П.Н. Врангеля и А.П. Кутепова [Струве 1929b: 1; Струве 1931: 1].

**«Идеальная русская личность»:
Иван Сергеевич Аксаков**

Важным элементом концепции «личной годности» П.Б. Струве были его размышления об «идеальной русской личности». По его собственным воспоминаниям, его первой в жизни «идеологической любовью» были «славянофилы вообще» и, в первую очередь, Иван Сергеевич Аксаков [Струве 19971: 232]. До конца жизни убеждённый западник, Петр Струве считал, что именно славянофил Иван Аксаков — есть «первый по специфической духовной одарённости и значительности русский публицист... В русской публицистике нет лучшей защиты свободы слова и совести, чем классические статьи на эти темы Ивана Аксакова» [там же].

Что особенно привлекало уже юного Петра Струве в И.С. Аксакове, так это то, что тот сумел удивительным образом соединить все то лучшее, что было выработано в замечательной семье Аксаковых: «художническая чуткость к быту и природе» отца, Сергея Тимофеевича, и «философски-исторический интерес к народу» старшего брата Константина сопряглись у Ивана Сергеевича с «величайшей действенностью» [там же].

Как младший сын в семье, вспоминал Струве, он очень рано был приобщён «ко всему тому, что тогда составляло духовное содержание жизни»: «Вместе со своей семьёй я пережил эпопею русско-турецкой войны и ее финал — Берлинский конгресс и трактат, заключение которого вызвало пламенный протест — историческую речь Ивана Сергеевича Аксакова. Мы, дети (да и одни ли только дети?), конечно, мало понимали в политике, но мы с волнением ощущали, что Россия оскорблена и унижена в своем национальном и славянском призвании. А когда Иван Аксаков громко и мужественно поведал всему миру об этой обиде, — наши души трепетали созвучно с его боевым духом русского и славянина, глашатая и вождя» [там же].

Тетрадки аксаковской «Речи», вспоминал Струве, «с увлечением читались и прилежно перечитывались»: «Я втихомолку строчил что-то для «Руси, скрывая написанное и от родителей, и от братьев. Мать моя что-то писала и Достоевскому, и Аксакову» [там же]. До конца жизни Струве помнил в подробностях тот важный для всей их семьи эпизод, когда летом 1882 г., будучи проездом в Москве, они удостоились посещения Иваном Аксаковым их гостиничного номера в «Славянском базаре»: «Он пришёл отдать визит моему отцу и поблагодарить мою мать за читательское сочувствие... В маленьком теле Ивана Аксакова была как-то собрана огромная действенность и законченно выразилось то своеобразное сочетание неукротимого восторга и боевой энергии с трезвостью, с чувством меры и возможностей, с хозяйственной деловитостью, сочетание, в котором вся сила и прелесть подлинного политического горения и национально-государственного делания» [там же].

На многие годы И.С. Аксаков стал для Струве образцом человеческой «действенности» (именно это слово встречается в работах Струве об Аксакове наибольшее число раз). В нем особенно поражало то, что, «будучи приверженцем и носителем мировоззрения и писателем, он не замкнулся ни в учении, ни в теории, ни в писательстве или пропаганде. В лице Ивана Аксакова... славянофильство спустилось с высоты историко-философского учения и вошло в реальную жизнь» [там же].

Высокие идеалы и — одновременно — умение претворять их в жизнь; подлинное свободолобие и — в то же время — обострённое национальное чувство — в этих парадоксальных, на первый взгляд, соединениях был удивительный секрет Аксакова, волновавший и воодушевлявший Струве на протяжении всей его жизни: «В этом смыкании был свой стиль или, да позволено будет употребить одно из излюбленных самим Иваном Сергеевичем и красивых русских слов, был свой „лад“, т. е. своя собственная смысловая красота, воистину музыкальная... Эта духовная музыка была гармонически проникнута двумя основными моти-

вами-идеями: идеей свободной личности и идеей себя сознающего и утверждающего народа... Вот почему Иван Аксаков был в одно и то же время борцом и за права человека и гражданина, и за национальное начало. Ему было присуще острое и тонкое чувство права, укоренённого в правде, и глубокое, трепетно-восторженное ощущение соборного начала народности» [там же].

Собственно, непосредственным импульсом становления молодого Петра Струве как убеждённого либерала стал конфликт И.С. Аксакова в конце 1885 г. с цензурным ведомством, конфликтом, ускорившим его кончину. Струве вспоминал: «Его (Аксакова. — А.К.) статья в „Руси“ против цензурного ведомства, которое почти перед самой смертью знаменитого публициста осмелилось обвинить его в „недостатке истинного патриотизма“, читалась и перечитывалась людьми нашего поколения буквально с трепетом и восторгом, как беспримерно-мужественное обличение бюрократической тупости и как такая же защита свободной речи» [там же]. «Либерализм — это и есть истинный патриотизм» — это кредо Петра Бернгардовича Струве было несомненно унаследовано им от И.С. Аксакова¹⁷.

**«Идеальная русская личность»:
Борис Николаевич Чичерин**

Своим непосредственным предшественником в выработке концепции «личной годности» П.Б. Струве считал русского правоведа и философа Бориса Николаевича Чичерина, к анализу творчества которого он возвращался неоднократно. Интересно, что в годы своей «марксистской молодости» Струве оказался, по его собственным словам, «последним представителем русской радикальной публицистики, скрестившим шпаги с либеральным консервативным Чичериным» [Струве 1929а: 3].

В 1897 г. Струве опубликовал в «Новом слове» критическую статью об исторических взглядах Чичерина [Струве 1902: 84–20]. Однако достаточно скоро Струве, по его признанию, «пришел в своих собственных путях к общественно-политическому мировоззрению, близкому ко взглядам покойного московского учёного» [Струве 1904b: 323].

Либерально-консервативный синтез, который олицетворял собой Чичерин, был, согласно Струве, наиболее оптимальной мировоззренческой и общественной позицией, ибо мог одновременно и гармонично решать две главные российские проблемы: проблему «освобождения лица» и проблему «упорядочения государственного властвования, введения его в рамки правомерности и соответствия с потребностями и желаниями населения» [Струве 1904а: 3–4].

До Чичерина попытки решить эти две проблемы предпринимались почти исключительно «по двум параллельным осям: по оси либерализма и по оси консерватизма»: «Для индиви-

¹⁷ В этой связи необходимо оспорить мнение об И.С. Аксакове (в том числе об Аксакове 1880-х гг.) одного из самых авторитетных биографов П.Б. Струве — американского историка Ричарда Пайпса. В своем, ставшем классическим, двухтомнике о Струве Пайпс, в частности, даёт Аксакову такую характеристику: «Это был рупор славянофильства в его завершающей фазе, после того, как оно растеряло присущий его ранней стадии этнокультурный идеализм и превратилось в политическое движение с отчётливо выраженными чертами ксенофобии. В преклонные годы поведение Аксакова все в большей степени приобретало параноидальный характер. Он науськивал своих читателей против поляков, немцев и евреев, ставя им в вину все неурядицы российской действительности, взвинчивал общественную истерию, доводя ее до воинственно-имперских устремлений. В принципе, Аксакова последнего периода его жизни можно охарактеризовать как националиста-реакционера и одного из идеологических предшественников фашизма XX века» [Пайпс 2001а: 34]. Строго говоря, Пайпс, употребляя по отношению к И. Аксакову такие слова, как «параноидальный характер», «науськивал», «взвинчивал» и т. п., оспаривает один из центральных тезисов самого П.Б. Струве о том, что все творчество Аксакова — это как раз образец трезвости и здравомыслия.

дуальных сознаний эти оси по большей части никогда не сближаются и не сходятся. Наоборот, по большей части они далеко расходятся». И в этом смысле именно Чичерин представил в истории русской культуры и общественности «самое законченное, самое яркое выражение гармонического сочетания в одном лице идейных мотивов либерализма и консерватизма» [там же].

В чичеринской критике радикальной публицистики Герцена Струве усматривал первые наметки близкого ему культурно-антропологического подхода к политической истории. Чичерин, по его мнению, был абсолютно прав, когда в своем «Письме к издателю Колокола» (1858 г.) предупреждал о недопустимости проявлений политической нетерпеливости в обществе, ещё не выработавшем гражданских добродетелей и способности к самоограничению. Особенно ценил П.Б. Струве сборник Чичерина «Несколько современных вопросов» и прежде всего статью «Меры и границы», где Чичерин «превосходно охарактеризовал русские чрезмерности вообще и тем самым наперёд обрисовал чрезмерности большевизма и его „эмигрантского“ отражения, евразийства» [Струве 2004g: 417–418].

Общеисторическую позицию Чичерина, с которой он был абсолютно солидарен, Струве изложил следующим образом: «Поскольку он (Чичерин — А.К.) верил в реформаторскую роль исторической власти, т. е. в эпоху великих реформ, в 50-х и 60-х годах, Чичерин выступал как либеральный консерватор, решительно борясь с крайностями либерального и радикального общественного мнения. Поскольку же власть стала упорствовать в реакции, Чичерин выступал как консервативный либерал против реакционной власти, в интересах государства отстаивая либеральные начала, защищая уже осуществленные либеральные реформы и требуя в царствование Александра III и, особенно энергично и последовательно, в царствование Николая II коренного преобразования нашего государственного строя» [Струве 1904a: 4].

Когда в 1928 г. исполнилось 100-летие со дня рождения Б.Н. Чичерина, Русский институт в Белграде организовал торжественное заседание, на котором выступил и П.Б. Струве. В своей речи он сказал об актуальности либерально-консервативных идей Б.Н. Чичерина для всех, кто борется за освобождение России от большевизма. «Что отстаивал в свое время Чичерин? Свободу экономическую и свободу гражданскую. А это как раз то, что нужно современной, изнывающей под ярмом коммунистического большевизма России. Экономическую свободу Чичерин отстаивал против социализма, и эта именно свобода, т. е. разрыв всех сковывающих экономическую жизнь России насильственных (по новой терминологии, «идеократических») пут... Гражданскую свободу Чичерин отстаивал против абсолютизма» [Струве 2004h: 416].

***«Идеальная русская личность»:
Александр Сергеевич Пушкин***

Через всю свою жизнь П.Б. Струве пронёс огромный интерес к жизни и творчеству А.С. Пушкина. Но был в его биографии один эпизод, когда Пушкин стал, и уже навсегда, поистине главным героем размышлений Струве об «идеальной русской личности». Летом 1918 г., покинув большевистскую Москву в расчёте попасть на территорию, которая, как тогда казалось, могла быть уже занята высадившимися севере России англичанами, Струве и его спутник Аркадий Борман (сын известной кадетской журналистки А.В. Тырковой-Вильямс) оказались в поместье Алятино, в сорока вёрстах к югу от Вологды, принадлежавшем родителям школьного друга Бормана. Там, по воспоминаниям последнего, они со Струве прожили август и сентябрь, и все это время Струве работал в великолепной библиотеке хозяев. Основываясь на мемуарах Бормана, Р. Пайпс пишет: «Струве с головой ушёл в книги. Особенно интересовал его Пушкин, воплощавший, как полагал Струве, все лучшее и

обнадёживающее, что было в русской культуре. Он *проштудировал пушкинское собрание сочинений от корки до корки* (курсив мой. — А.К.) и сразу же задумал новую книгу: трактат о Пушкине и его значении для русской жизни. Книга, разумеется, так и осталась ненаписанной. Но подборка пушкинских цитат и пушкинский словарик, составленные им тогда, время от времени всплывали в работах периода эмиграции» [Пайпс 2001b; Борман 1969].

Струве увидел в Пушкине идеальное сочетание двух качеств: любви к свободе и любви к национальной форме порядка; он был согласен со старым определением Пушкина кн. Вяземским как *либерального консерватора*. В работе «Политические взгляды Пушкина» Струве писал: «Пушкин непосредственно любил и ценил начало *свободы*. И в этом смысле он был *либералом*. Но Пушкин также непосредственно ощущал, любил и ценил начало власти и его национально-русское воплощение, принципиально основанное на законе, принципиально стоящее над сословиями, классами и национальностями, укоренённое в вековых преданиях или традициях народа *Государство Российское* в его исторической форме — свободно принятой народом наследственной *монархии*. И в этом смысле Пушкин был *консерватором*» [Струве 1997m: 310].

Вслед за Гоголем и Достоевским, Струве полагал, что Пушкин является образцом русской гражданской зрелости. «Пушкин не отрицал *национальной* силы и *государственной* мощи, — писал Струве в «Возрождении» в июне 1926 г. ... — И в то же время Пушкин, этот ясный и трезвый ум, этот выразитель и ценитель земной *силы* и человеческой *мощи*, почтительно *склоняется перед неизъяснимой тайной Божьей*, превышающей всё земное и человеческое... Пушкин знал, что всякая земная сила, всякая человеческая мощь сильна *мерой* и в меру собственного *самоограничения* и самообуздания. Ему чужда была нездоровая *расслабленная* чувствительность, ему претила пьяная чрезмерность, тот прославленный в настоящее время „максимализм“, который рождается в угаре и иссякает в похмелье (курсив везде П.Б. Струве. — А.К.)» [Струве 1981b: 10].

Развивая свою культуроцентричную концепцию истории, Струве представлял себе борьбу с большевизмом, как борьбу культуры — с «новым варварством»: «Та борьба, которую мы ведём с большевизмом и советским гнётом, не есть только политическая борьба и не в политике содержится ее конечное оправдание. Совсем наоборот. Наша политическая непримиримость по отношению к большевизму есть не только осуществление принадлежащего нам, гражданам права, она есть наша обязанность, как носителей культуры, перед соборным существом, перед „мистическим телом“, именуемым — Россия» [Струве 1981c: 14]. И в этом смысле закономерно, что лидером борьбы за русскую культуру должен стать абсолютный человек культуры, ее символ. Таким символом несомненно является Пушкин, в лице которого, «быть может, даже не вполне заметно и ощутимо для него самого, история подвела итог огромной культурно-национальной работе» [Струве 1981d: 18].

Пушкин, согласно Струве, — «самый объемлющий и в то же время самый гармоничский дух, который выдвинут был русской культурой... Он был — до конца прозрачная ясность, всеобъемлющая сила, воплощённая мера... Этой мерной силе было присуще величайшее творческое спокойствие, ей была свойственна спокойная и ясная справедливость» [там же: 18–19, 20]. Именно такой водитель нужен России в борьбе с «новым варварством», в котором «западная отравка интернационального коммунизма сочетается с архи-русским ядом родной сивухи» [Струве 1981e: 13].

Струве видел в Пушкине «первого и главного учителя для нашего времени» [там же: 9]. Вот почему, цитируя стихотворения Пушкина в июне 1930 г. в Белграде, Струве говорил, что «дух Пушкина... велит изгнать из тела и души России полонившие ее бесовские силы безобразного большевизма и утвердить вновь свободу человека, его „по воле Бога самого“ основанное „от века“ *самостоянье*» [там же: 13]. Струве верил в наступление «русского Возро-

ждения», которое начнётся «под знаком Силы и Ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра Великого, просветлённого художническим гением Пушкина» [Струве 1981b: 10].

Послесловие

Свою концепцию «личной годности» Петр Бернгардович Струве считал творческим развитием либеральной идеи, ее реализацией в общественной практике: «Если в идее свободы и своеобразия личности был заключён вечный идеалистический момент либерализма, то в идее личной годности перед нами вечный реалистический момент либерального мирозерцания» [Струве 1997e: 203].

Истоки своей позиции Струве находил в «радикальном протестантизме разных оттенков и разных стран, провозгласившем автономию личности. Из этой идеи религиозной автономии вытекало и начало веротерпимости — не как выражение религиозного безразличия, а как высшее подлинно-религиозное признание идеи свободы лица» [Струве 1997n: 331]. Струве верил, что «личная годности» станет важнейшим принципом возрождённого христианского миропонимания, «в котором воскреснут старые мотивы религиозного, выросшего из христианства, либерализма — идея личного подвига и личной ответственности, осложнённая новым мотивом свободы лица, понимаемой как творческая автономия... Человек как носитель в космосе личного творческого подвига — вот та центральная идея, которая... захватит человечество, захватит его *религиозно* и вольёт в омертвевшую личную и общественную жизнь новые силы. Такова моя вера» [там же: 333–334].

Бердяев Н.А. 1990. *Истоки и смысл русского коммунизма*. — М.: Наука.

Борман А. 1969. Из воспоминаний о П.Б. Струве. — *Новое русское слово*. — 8 сентября.

Гайденко П.П. 1992. Под знаком меры. — *Вопросы философии*. — № 12.

Герасимов А.В. 2004. На лезвии с террористами. — «Охранка». *Воспоминания руководителей охранных отделений*. Т. 2. — М.

Кантор В.К. 2006. Откуда и куда ехал путешественник? «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. — *Вопросы литературы*. — № 4.

Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. 2011. *Свобода и вера. Христианский либерализм в русской политической культуре*. — М.

Крупская Н.К. 1926. *Воспоминания*. — М.-Л.: Госиздат.

Милюков П.Н. 1910. Интеллигенция и историческая традиция. — *Интеллигенция в России. Сборник статей*. СПб.

Пайпс Р. 2001а. *Струве: левый либерал. 1870–1905*. — М., 2001.

Пайпс Р. 2001б. *Струве: правый либерал. 1905–1944*. — М., 2001.

Потолов С.И. 1998. Георгий Гапон и либералы (новые документы). — *Россия в XIX–XX вв. Сборник статей к 70-летию со дня рождения Р.Ш. Ганелина*. — СПб.

Потолов С.И. 2009. Георгий Гапон и российские социал-демократы в 1905 г. — *Социал-демократия в российской и мировой истории*. — М.

Струве П.Б. 1902. Чичерин и его обращение к прошлому. — *Струве П.Б. На разные темы*. — СПб.

Струве П.Б. 1904а. Б.Н. Чичерин и его место в русской образованности и общественности. — *Освобождение*. — 19 февраля.

Струве П.Б. 1904б. Б.Н. Чичерин: некролог. — *Освобождение*. — 19 февраля.

Струве П.Б. 1905. Палач народа. — *Освобождение*. — № 64, 12 января.

- Струве П.Б. 1929а. Б.Н. Чичерин и его место в русской образованности и общественности. — *Россия и славянство*. — № 9.
- Струве П.Б. 1929б. Памяти генерала П.Н. Врангеля. — *Россия и славянство*. — № 22.
- Струве П.Б. 1931. А.П. Кутепов. — *Россия и славянство*. — № 113.
- Струве П.Б. 1950. Мои встречи и столкновения с Лениным. — «Возрождение». *Литературно-политические тетради* (под ред. С.П. Мельгунова). — Париж. — №№ 9, 10, 12.
- Струве П.Б. 1981а. Радищев и Пушкин. — Струве П.Б. *Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе*. — Париж.
- Струве П.Б. 1981б. Именем Пушкина. — Струве П.Б. *Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе*. — Париж.
- Струве П.Б. 1981с. Заветы Пушкина. — Струве П.Б. *Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе*. — Париж.
- Струве П.Б. 1981д. Растущий и живой Пушкин. — Струве П.Б. *Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе*. — Париж.
- Струве П.Б. 1981е. Культура и борьба. — Струве П.Б. *Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе*. — Париж.
- Струве П.Б. 1991а. Интеллигенция и революция. — *Вехи. Из глубины*. — М.
- Струве П.Б. 1991б. Исторический смысл русской революции. — *Вехи. Из глубины*. — М.
- Струве П.Б. 1997а. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997б. Накануне Нового (1906) года. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997с. Русская идейная интеллигенция на распутье. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997д. Из размышлений о русской революции. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997е. Интеллигенция и народное хозяйство. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997ф. Памяти М.Я. Герценштейна. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997г. Памяти А.А. Бакунина и П.А. Корсакова. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997h. Граф П.А. Гейден. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997i. Культура и дисциплина. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997j. Размышления на политические темы. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997к. Две речи. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997l. Аксаковы и Аксаков. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997m. Политические взгляды Пушкина. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 1997n. Религия и социализм. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.
- Струве П.Б. 2004а. По поводу выступления г. Бадьяна. — *Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)*. — М.-Париж.

Струве П.Б. 2004b. Памяти Н.В. Чайковского. — *Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)*. — М.-Париж.

Струве П.Б. 2004c. Нетерпение или активная выдержка. — *Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)*. — М.-Париж.

Струве П.Б. 2004d. Действительность и условия ее успеха. Некоторые морально-политические уроки. — *Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)*. — М.-Париж.

Струве П.Б. 2004e. По поводу окончания очерков Н.Н. Львова. — *Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)*. — М.-Париж.

Струве П.Б. 2004f. П.Н. Миллюков. — *Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)*. — М.-Париж.

Струве П.Б. 2004g. Из Б.Н. Чичерина в «Хрестоматию евразийства». — *Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)*. — М.-Париж.

Струве П.Б. 2004h. Два основных освободительных требования. — *Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935)*. — М.-Париж.

Франк С.Л. 1997. Умственный склад, личность и воззрения П.Б. Струве. — Струве П.Б. *Patriotica. Политика, культура, религия, социализм*. — М.

Шевырин В.М. 2007. *Рыцарь российского либерализма. Граф Петр Александрович Гейден*. — М.